

ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В БУРСЕ

Очерк первый

Николай ПОМЯЛОВСКИЙ

В первом номере НО за 2002 год мы начали публикацию «Очерков Бурсы» Николая Помяловского. Предлагаем вниманию читателей окончание первого очерка.

Восьмипесенная «Семинариада» составлена давно и переходит по преданию от одного поколения к другому. В местных песнях и стихах отразилось, как товарищество смотрело на науку и на своих начальников...

Из общего же всем репертуара певались здесь либо жестокие романсы: «Стонет сизый голубочек», «Ночную темнотою», «Я бедная пастушка», «Уж солнце зашло вверх, горя» и т.п., либо чисто народные песни: «Ах вы, сени», «Вниз по матушке по Волге», «Как за реченькою, как за быстрою», «Полно, полно вам, ребята, чужо пиво пити» и т.п.

Но вот какой-то отпетый возглашает ещё стих домашнего изделия:

В восьмом часу по утрам,
Лишь лампы блеснут на стенах,
Мужик Суковатов несётся,
Несётся в личных сапогах...

Повисли в воздухе хохот, остроты и крепкая ругань против начальства... Опять какая-то шельма грегочет... десятеро загреготали... двадцать человек... счёту нет... Появились лай, мяуканье и криканье, свист и визг... Ко всей этой ерунде присоединилась голосов в сорок бурсацкая разноголосица: участвующие в ней разбирают между собою все тоны, употребляемые в пении, и все ноты берут сразу. Между тем сырость и холод пронимают приходчину до костей; благим матом затягивается: «холодно, холодно!» — это призывный к согреванию звук, после которого ученики начинают махать руками наподобие тому, как греются извозчики, и стонут — душу надрывают; «холодно, холодно!» — «Домового ли хоронят, ведьму ль замуж выдают?» Пастей во сто выработывается бесшабашный гвалт, и всё это совершается в непроглядной темноте. Если бы привести в класс свежего человека, не слыхавшего стенаний бурсака, он подумал бы, что это грешные души воют в аду. Грегочут, тянут «холодно», дуют разноголосицу во все ноты; в вопиющих и взывающих звуках растут-разрастаются голоса и отдаются дрожью в оконных стёклах... Существует ли на свете ещё какой-нибудь нелепый звук, который не отыскался бы в этой массе крика, пенья и гуденья! Но вот что-то новое зарождается в душном, промозглом воздухе кромешного класса; что-то встало над всеми голосами. Заслышали товарищи знаменитый громадный бас Великосвятского, гласящего «благоденственное в мирное житие»; с неудержимою силою оглушаются товарищи последними словами: «благополучно ныне почивающему на лаврах курсу многая лета!» На необъятной нотище разрешается последний звук... В одно мгновение, точно по одному темпу, смолкли все... Товарищество наслаждается; оно страстно любит крепкий звук... Но минута — и стоголосое «многая лета!» отвечало басу... Надо заметить, что товарищество уважало, кроме отпетых, потом силачей, потом голов, выносящих многоградусный хмель, — уважало и обширных басов. Бурса любит хорошие голоса, бережёт их, лелеет, выручает из всякой беды. Ученики ещё дома привыкли петь в церкви, славить Христа, служить панихиды и молебны, читать часы и апостол, отчего у них развиваются голоса и любовь к пению. В училищах часто бывают превосходные певческие хоры. Около Великосвятского слышно одобрение.

— Господа, концерт! — предложил кто-то.

— «На реках вавилонских».

— Да нот нет...

— На память!..

— Зови маленьких певчих.

Через несколько минут поётся концерт. Ни одного дикого звука нет в классе. Дисканты

плачут детскими голосами; бас, как подавленная сила, гудит и сдержанно ропщет; слышен крик вавилонянина: «Воспойте нам от песней сионских!»; чудится, как в гневе и нетерпении топает ногами грозный деспот... «Како воспоём на земле чуждей песнь господню?» — отвечают плачущие, робкие голоса детей; женские слёзы слышны в грудных дискантах. Высокими, тихими и страстными нотами восходит плач и, наконец, переходит в сильные, грозные голоса: «Дщи вавилоня, окаянная! блажен, кто возьмёт твоих младенцев и расшибет их головы о камень!»

После концерта всё стихло. Ученики, укрощённые на время стройным пением, рассказывают друг другу сказки, вспоминают каникулы, толкуют о начальстве и товариществе. Изредка кого-нибудь треснут по шее. Митаха, хранитель преданий, поёт заунывным голосом:

А как взяли козла

Поперёк живота...

Но ученики недолго сидели скромно и тихо.

— Приходчину дуть! — раздался чей-то голос.

— Идёт! — отвечают на голос.

Собирается партия человек двадцать, и ноябрьским вечером крадутся через двор, в класс приходских учеников. Приходчина, тоже сидящая в сени смертной, ничего не ожидала. Второездные, сделавши набег, рассыпались по классу, бьют приходчину в лицо, загибают ей салазки, делают смази, рассыпают постные и скоромные, швычки и подзатыльники. Кто бьёт? за что бьёт? Чёрт их знает и чёрт их носит!.. Плач, вопль, избивание младенцев! На партах и под партами уничтожается горе-злосчастная приходчина. Больно ей. В этих диких побиваниях приходчины, совершаемых в потёмках, выражалась, с одной стороны, какая-то нелепая удаль: «раззудись плечо, размахнись кулак!», а с другой стороны — «трепещи, приходчина, и покоряйся!» Впрочем, в таких случаях большинство только удовлетворяло своей потребности побить кого-нибудь, дать встряску, лупку, волосянку, отдуть, отвалить, взъерепенить, отмордасить, чтобы чувствовалось, что в твоих руках пищит что-то живое, страдает и просит пощады, и всё это делается не из мести, не из вражды, а просто из любви к искусству. Натешившись вдоволь и всласть, рыцари с торжественным хохотом отправляются восвояси. Истрёпанная приходчина охает, плачет и щупает бока свои.

Когда рыцари вернулись в класс, там шла новая забава.

— Мала куча! — кричало несколько человек. Среди класса, в темноте, шла какая-то возня — не то игра, не то драка... Смех и брань раздавались оттуда.

Усиливается возня. Обыкновенно, когда кричали «мала куча!», то это значило, что кого-нибудь повалили на пол, на этого другого, потом третьего и т.д. Упавшим не дают вставать. Человек тридцать роятся в куче, сплетаясь руками и ногами и тиская друг другу животы. Успевшие выбиться из кучи и встать на ноги стараются повалить других, ещё не упавших на пол, и постоянно раздаётся в несколько голосов:

— Мала куча!

Не окончилась ещё эта возня, как затеялась новая.

— Масло жать! — кричали из угла у печки. Слышно, как толпа пробирается в угол, напирает и давит своею массою попавших к стене, при криках:

— Михалка, вали!

— Васенда, при!

— Работай, Шестиухая Чабря...

— Тисни, Хорь, тисни!

Попавшие к стене еле дышат, силятся выбиться наружу, а выбившись, в свою очередь жмут масло.

Но обе игры неожиданно прекратились... Раздался пронзительный, умоляющий вопль, который, однако, слышался не оттуда, где игралась «мала куча», и не оттуда, где «жали масло».

— Братцы, что это? Братцы, оставьте!.. Караул!.. Товарищи не сразу узнали, чей это голос... Кому-то зажали рот... вот повалили на пол... слышно только мычанье... Что там творится? Прошло минуты три мёртвой тишины... потом ясно обозначился свист розог в воздухе

и удары их по телу человека. Очевидно, кого-то секут. Сначала была мёртвая тишина в классе, а потом едва слышный шёпот...

— Десять... двадцать... тридцать... — Идёт счёт ударов.

— Сорок... пятьдесят...

— А-я-яй!—вырвался крик... Теперь все узнали голос Семёнова и поняли, в чём дело...

— Ты, сволочь, кусаться! — Это был голос Тавли.

— Ай, братцы, простите!.. не буду... ей-Богу, не бу...

Ему опять зажали рот...

— Так и следует, — шептались в товариществе...

— Не фискаль вперёд!..

Уже семьдесят...

Боже мой, наконец-то кончили!

Семёнов рыдал сначала, не говоря ни слова... В классе было тихо, потому что всячески совершилось дело из ряду вон... Облегчившись несколько слезами, но всё-таки не переставая рыдать, Семёнов, потеряв всякий страх от обиды и позора, кричал на весь класс:

— Подлецы вы эдакие!.. Чтобы вам всем... — И при этом он прибавил непечатную брань.

— Полайся!

— Назло же расскажу всё инспектору... про всех... — Неизвестно от кого он получил затрещину и опять зарыдал на весь класс благим воем. Некоторые захохотали, но многим было жутко... отчего? Потому что при подобных случаях товарищество возбуждалось сильно, отыскивало в потёмках своих нелюбимцев и крепко било их.

Между тем рыдал Семёнов. Невыразимая злость на обиду душила его; он в клочья рвал чью-то попавшуюся под руку книгу, кусал свои пальцы, драл себя за волосы и не находил слов, какими бы следовало изругаться на чём свет стоит. Измученный, избитый, иссечённый, несколько раз в продолжение вечера оскорблённый и обиженный, он теперь совершенно одурел от горя. Жаль и страшно было слышать, как он шептал:

— Сбегу... сбегу... зарежусь... жить нельзя!.. — Надобно честь отдать товарищам: большая часть, особенно первокурсные, в эту минуту сочувствовали горю Семёнова. У некоторых были даже слёзы на глазах — благо, темно, не заметят. Второкурсные храбрились, но и на них напала тоска, смешанная со страхом. Все понимали, что такое дело даром не пройдёт и что великого сеченья должна ожидать бурса. Тихо было в классе; лишь Семёнов рыдал... Что-то злое было в его рыданиях... но вот они вдруг прекратились и настала мёртвая тишина.

— Что с ним? — спрашивали ученики.

— Не случилось ли беды?

— Да жив ли он?

— Братцы, — закричал Гороблагодатский, освидетельствовав парту, на которой сидел Семёнов. — Он пошёл жаловаться!

— Опять фискалить! — раздались несколько голосов.

Расположение товарищей мгновенно переменилось; посыпалась на Семёнова злая брань.

— Смотрите, не выдавать, ребята!

— Э, не репу сеять!.. — слышались ответные голоса.

— А ты как же, Тавля?

— Я скажу, что хотел заступиться за него и в то время, как отдёргивал от его рта чью-то руку, он и укусил мою.

— Молодец, Тавля.

Однако Тавля дрожал как осиновый лист.

— А что цензор будет говорить? Он должен донести, а то ему придётся отвечать.

— А скажу, что меня не было в классе, — вот и всё!

В это время раздался звонок, возвестивший час занятий. Отворилась дверь, и в комнату внесли лампу о трёх рожках. От столбов полосами легли тени по классу, и осветились неуклюжие здоровенные парты, голые и ржавые стены, грязные окна, осветились угрюмым и неприветливым светом.

Второкурсные собрались на первых партах и вели совещания о текущих событиях. Начались занятия; но странно, несмотря на прежестокое розги учителей, по крайней мере человек сорок и не думали взяться за книжку. Иные надеялись получить в ногате хорошую отметку, подкупив аудитора взяткой; иные думали беспечно: «авось-либо и так сойдёт!», а человек пятнадцать на задних партах, в Камчатке, ничего не боялись, зная, что учителя не тронут их: учителя давно махнули на них рукой, испытав на деле, что никакое сеченье не заставит их учиться; эти счастливицы готовились к исключению и знать ничего не хотели. Леня была развита в высшей степени, а отсутствие всякой деятельности во время занятых часов заставляло ученика выработать тот элемент училищной жизни, который известен под именем школьничества, элемент, общий всякому воспитательному заведению, но который здесь, как и всё в бурсе, является в оригинальных формах.

Сидящие в Камчатке пользовались некоторыми привилегиями; на их шалости цензор, наблюдающий тишину и порядок, смотрел сквозь пальцы, лишь бы не шумели камчадалы. Пользуясь такими льготами, камчадалы развлекались, как умели. Гришкец толкает Васенду и шепчет: «следующему», Васенда толкает Карася, Карась — Шестиухую Чабрю, передавая то же слово; этот передаёт дальнейшему, толчок переходит на другую парту, потом на третью и так перебирает всех учеников. Вон Комедо, объевшись, спит, а Хорь, нажевав бумаги, сделал комок, который называется жевком, и пустил его в лицо спящего товарища. Комедо проснулся и пишет к Хорю записку: «После занятия тебе я спину сломаю, потому что не приставай, если к тебе не пристаю», и опять засыпает. Записок много пересылается по комнате; в одной можно читать: «Дай ножичка или карандаша», в другой: «Эй, Рабыня! (прозвище ученика) я уже с тобой на матках в чехарду», в третьей: «Пришли, дружище, табачку понюшку, после, ей-богу, отдам»; а вот Хитонов получил безымянную ругательную записку: «Ты, Хитонов, рыжий, а рыжий-красный — человек опасный; рыжий-пламенный сожёт дом каменный». Ответы и требуемые вещи идут по той же почте. Дети развлекаются по мере возможности. Многие корчат гримасы, ловят нос языком, косят глаза, пялят рот пальцами, показывая искривлённое лицо другим или рассматривая его в трёхкопеечное зеркальце. Плюнь умеет корчить рожи на номера: он высунул язык в левую сторону, нос подпёр пальцем к правой щеке, глаза выпучил, щёки отдул — это номер пятый. Всех номеров двенадцать. Аудитор, по прозванию Богиня, жуёт резину, третий день, не выпуская её изо рта; она скоро превратится в мягкую массу; потом надо надуть её воздухом, сжать пальцами, вследствие чего образуется пузырёк; пузырьком великовозрастный ударит себя по лбу и услышит лёгкий треск: чтобы насладиться таким счастьем, он работает усердно, не щадя своих челюстей, а когда устанет, то даст пожевать подаудиторному. Мямля сделал панораму из конфетных картинок и любит её целый час и в сотый раз; у него же из билетиков от леденцов сделан оракул: по леденечным билетикам красны девицы гадают о женихах, а он — вспорют его завтра или нет. Сосед его сделал пильщика, то есть деревянную куклу с пилою, и, отыскав равновесие, поставил её на краю парты и заставляет её качаться. Чеснок запихнул себе в нос нитку, под сильным выдыханием воздуха проводит её в рот и, передёргивая нитку взад и вперёд, показывает эту штуку своему закопёрщику (другу) Мямле. Один великовозрастный камчадал оттачивает перочинный нож и потом бреет верхнюю губу и щёки. Выбравшись, он начинает долбить в парте ящичек. Другой великовозрастный делает цепочку из сутуги. Третий великовозрастный свернул бумагу в тонкую трубочку и щекочет ею себе в носу; рожа его сморщилась, он чихнул громко, и ему весело. Двое камчадалов учатся иностранным языкам; один говорит: «хер-я, хер-ни, хер-че, хер-го, хер-не, хер-зна, хер-ю, хер-к зав, хер-тро, хер-му»; следует лишь вставить после каждого слога «хер», и выйдет не по-русски, а по херам. Другой отвечает ему ещё: «ши-чего ни-цы, ши-йся не бо-цы», то есть «ничего не бойся».

Это опять не по-русски, а по-шицы; здесь слово делится на две половины, например: ро-зга, к последней прибавляется ши, и произносится она сначала, а к первой цы, и произносится она после; выходит ши-зга ро-цы. Пентюх на последней парте занимается типографским искусством: он слюнит кость на суставе пальца, прикладывает сустав на печатную букву в учебнике и потом вырывает её; снявши букву с пальца, он переводит её на бумагу; таким

образом печатается какое-нибудь слово. Под последними партами улеглись на посланные на пол шубы человек пять и рассказывают сказки и побывальщины. На многих скучное, монотонное, без всякого содержания занятое время нагнало непобедимый сон; спят на пятой парте, спят на седьмой, спят на двенадцатой, спят под партами. Так камчатники и второкурсные, приготовившие уроки, проводят занятные часы. Весёлая жизнь!

Но только записные, безнадёжные лентяи, готовящиеся получить титулку, пользовались правом развлекаться в занятные часы. Кроме их, было ещё много лентяев, кандидатов в камчадалы, но ещё не камчадалов. Провождение времени этими учениками было ещё бесцветнее. Они тоже развлекались по-своему, но так как им необходимо было притворяться, будто они дело делают, то и развлечения их были другие. Цапля совсеусердием пишет что-то; со стороны посмотреть, он прилежнейший ученик, а между тем он вот что делает: напишет цифру, под ней другую, потом умножит их; под произведением опять подпишет первую цифру, опять умножит числа и т.д. работает, желая узнать, что из этого выйдет. Поросля придавил глаз пальцем и любит, как перед ним двоятся и троются предметы; потом, затыкая и оттыкая уши, слушает жужжанье и лёгкий говор в классе, как оно прерывающимся звуками отдаётся в его ушах; а не то он приставит ухо к парте и рассуждает, отчего это через дерево усиливается звук. Один первокурсный нащипывает себе руку, желая приучить её хоть к тёплым щипчикам. Другой завязал конец пальца ниткой и любит на затёкшийся кровью палец. Третий насасывает руку до крови... Изобретают самые пустые и, кажется, неинтересные занятия, например прислушиваются, как бьётся пульс, заберут в лёгкие воздух и усиливаются как можно дольше удержать его в груди, задают себе задачу — не мигнуть ни разу, пока не сосчитают тысячу, сбивают слюну во рту и потом выплёвывают на пол, читают страницу сзади наперёд и притом снизу вверх, положат натаскать из головы сотню волос и натаскают; кто болтает ногами, кто ковыряет в носу, перемигиваются, передают друг другу разные знаки, руками выделывают разные акробатические штуки. Иной сидит, положив голову на ладони, и смотрит в воздух беспредметно: он мечтает о матери, сёстрах, о соседнем саде помещика, о пруде, в котором ловил карасей... и урок ему нейдёт на ум. Некоторые, зажмурив глаза и стараясь попасть пальцем в палец, гадают, будет ли сечь завтра учитель или нет, и когда выходит — будет, то соображают, где бы взять денег в долг, чтобы подкупить аудитора, а за книжку и не думают брать. Иные сидят обессмысливши и млеют в тоске неисходной, ожидая, скоро ли пройдут три узаконенных часа и ударит благодатный звонок, возвещающий ужин, тупо глядя на тускло горящую лампу. У этих бурсаков не хватает силы воли взяться за урок. Но что это значит? — спросит читатель: неужели занимательнее читать страничку снизу вверх, как это делают некоторые для развлечения, нежели сверху вниз?.. Да, пожалуй, что и занимательнее. Недаром же сложилась в бурсе песня, которая говорит, что «блаженны народы, не ведающие наук», что нужно иметь «крепкую природу» для училищных «мук», что ученик, идя в класс, «воет», он «раб», его «терзают». Песня, переходящая от поколения к поколению, недаром сложилась.

Главное свойство педагогической системы в бурсе — это долбня, долбня ужасающая и мертвящая. Она проникала в кровь и кости ученика. Пропустить букву, переставить слово считалось преступлением. Ученики, сидя над книгой, повторяли без конца и без смысла: «стыд и срам, стыд и срам, стыд и срам... потом, потом... постигли, стигли, стигли... стыд и срам потом постигли...» Такая египетская работа продолжалась до тех пор, пока навеки нерушимо не запечатлевалось в голове ученика «стыд и срам». Сильно мучился воспитанник во время урока, так что учение здесь является физическим страданием, которое и выразилось в песне: «Сколь блаженны те народы». При глухой долбне замечательны в училищной науке возражения. Педагоги получали воспитание схоластическое, произошли всевозможную синекдоху и гиперболу, остриём священной хрии вскормлены, воспитаны тою философией, которая учит, что «все люди смертны, Кай — человек, следовательно, Кай смертен» или что «все люди бессмертны. Кай — человек, следовательно, Кай бессмертен», что «душа соединяется с телом по однажды установленному закону», что «законы тождества и противоречия неукоснительно вытекают из нашего я или из нашего самосознания», что «где является свет,

там уничтожается тьма», что «смирение есть источник всякого блага, а вольнодумство пагубно и зорно» и т.п. Они упражнялись в диалектике, разрешая такие, например, вопросы: «может ли диавол согрешить?», «сущность духа подлежит ли в загробной жизни мертвенному состоянию?», «первородный грех содержит ли в себе, как в зародыше, грехи смертные, произвольные и невольные?», «что чему предшествует: вера любви или любовь вере?» и т.п. Окончательно же окрепли их мозги в диспутах, когда они победоносно витийствовали на одну и ту же тему pro и contra¹, смотря по тому, как прикажет начальство, причём пускались в дело все сто форм схоластических предложений, все роды и виды софизмов и паралогизмов. Ещё во время детства у них явилось расположение разрешать: «что такое сущность?», «что такое целое?», «спасётся ли Сократ и другие благочестивые философы язычества или нет?», и им очень хотелось, чтобы нет. Особенно же любили учителя доказывать, что человек есть существо бессмертное, одарённое свободно-разумной душой, царь вселенной, — хотя странно, в действительной жизни они едва ли не обнаруживали того убеждения, что человек есть не более не менее, как бесперый петух. Всё это слышалось в возражениях педагогов. Ученик до боли в висках напрягал голову, когда приходилось разрешать великие вопросы педагогов-философов, но, к благополучию его, возражения давались редко и вообще считались учёною роскошью. Над всем царила всепоглощающая долбня... Что же удивительного, что такая наука поселяла только отвращение в ученике и что он скорее начнёт играть в плевки или проденет из носу в рот нитку, нежели станет учить урок? Ученик, вступая в училище из-под родительского крова, скоро чувствовал, что с ним совершается что-то новое, никогда им не испытанное, как будто пред глазами его опускаются сети одна за другою, в бесконечном ряде, и мешают видеть предметы ясно; что голова его перестала действовать любознательно и смело и сделалась похожа на какой-то препарат, в котором стоит нажать пружину — и вот рот раскрывается и начинает выкидывать слова, а в словах — удивительно! — нет мысли, как бывало прежде. Только ученики, соединившие в себе способность долбить со способностью отвечать на возражения, никогда не задумывались над уроком. Но для этого надо было родиться башкой. Бывали удивительные башки. Так, некто Светозаров выучил из латинского лексикона Розанова слова и фразы на четыре буквы; начав с «А, ab, abc», он отхватывал несколько печатных листов, не пропуская ни одного слова, и такой подвиг был предпринят единственно из любви к искусству. Но немногие были способны к училищным работам; большинству они давались трудно, и лишь розги заставляли заниматься. Вон Данило Песков, мальчик умный и прилежный, но решительно неспособный долбить слово в слово, просидев над книгой два часа с половиной, поводит помутнившимися глазами... и что же?.. он видит, многие измучились ещё более, чем он, многие ещё доканчивают свою порцию из учебников, озабоченно вычитывая урок, поднимая голову кверху, как пьющие куры. Иные чуть не плачут, потому что невысокий балл будет выставлен против их фамилии в нотате. Один, желая возбудить в себе энергию, треплет сам себя за волоса... Э, бедняга, хоть сам-то пожалей себя! брось ты книгу под парту либо наплюй в неё — всё равно завтра твоё тело будет страдать под лозами... ступай-ка, дружище, в Камчатку — там легче живётся; а дельных знаний у камчатников, право, не меньше, нежели у самого закалённого башки. Ученик, вглядываясь в измученные долбнёю лица товарищей, невольно спрашивает себя: «Зачем эти труды и страдания? К чему эта возня с утра до вечера над опротивевшим учебником? Разве мы не люди?» Среди таких размышлений выскочит без спросу, сам собою, кончик урока и простучит всеми словами в голове. Под конец занятия у прилежного ученика голова измается; в ней не слышно ни одной мысли, хотя и являются они, послушные сцеплению идеи, как это бывает с человеком во сне. Невесёла картина класса... Лица у всех скучные и апатические, а последние полчаса идут тихо, и, кажется, конца не будет занятию... Счастлив, кто уснуть сумел, сидя за партой: он и не заметит, как подойдет минута, возвещающая ужин.

¹ За и против (лат.). — *Ред.*

Но вечер кончился очень занимательно. Минут за тридцать до звонка явился в класс Семёнов. Бледный и дрожащий от волнения, вошел он в комнату и, потупясь, ни на кого не

глядя, отправился на своё место. Занятная оживилась: все смотрели на него. Семёнов чувствовал, что на него обращены сотни любопытных и злобных глаз, холодно было у него на душе, и замер он в каком-то окаменелом состоянии. Он ждал чего-то. Минуты через четыре снова отворилась дверь; среди холодного пара, ворвавшегося с улицы в комнату, показались четыре солдатские фигуры — служителя при училище: один из них был Захаренко, другой Кропченко — на них была обязанность сечь учеников; двое других, Цепка и Еловый, обыкновенно держали учеников за ноги и за голову во время сечения. Мёртвая тишина настала в классе... Тавля побледнел и тяжело дышал. Скоро явился инспектор, огромного роста и мрачного вида. Все встали. Он, ни слова не говоря, прошёлся по классу, по временам останавливаясь у парт, и ученик, около которого он останавливался, дрожал и трепетал всем телом... Наконец инспектор остановился около Тавли... Тавля готов был провалиться сквозь землю.

— К порогу! — сказал ему инспектор после некоторого молчания.

— Я... — хотел было оправдываться Тавля.

— К порогу! — крикнул инспектор.

— Я заступался за него... он не понял...

Инспектор был сильнее всякого бурсака. Он схватил Тавлю за волосы и дал ему трёпку; потом наклонил его за волоса лбом к парте, а другой рукой, кулаком, ударил ему в спину, так что гул раздался от здорового удара по крепкой спине; потом, откинув Тавлю назад, инспектор закричал:

— К порогу!

Тавля после этого не смел рта разинуть. Он отправился к порогу, разделся медленно, лёг на грязный пол голым брюхом; на плечи и ноги его сели Цепка и Еловый...

— Хорошенько его! — сказал инспектор. Захаренко и Кропченко взмахнули с двух сторон лозами; лозы впились в тело Тавли, и он, дико крича, стал оправдываться, говоря, что он хотел заступиться за Семёнова, а тот не понял, в чём дело, и укусил ему руку. Инспектор не обращал внимания на его вопли. Долго секли Тавлю и жестоко. Инспектор с сосредоточенной злобой ходил по классу, ни слова не говоря, а это был дурной признак: когда он кричал и ругался, тогда криком и руганью истощался гнев... Ученики шёпотом считали число ударов и насчитали уже восемьдесят. Тавля всё кричал «не виноват!», божился господом Богом, клялся отцом и матерью под лозами. Гороблагодатский злобно смотрел то на инспектора, то на Семёнова; Семёнов не понимал сам себя: и тени наслаждения мезтью не было в его сердце, он почти трясся всем телом от предчувствия чего-то страшного, необъяснимого. Бог знает, на что бы он согласился, чтобы только не секли Тавлю в эту минуту. Тавля вынес уже более ста ударов, голос его от крику начал хрипеть, но всё он продолжал кричать: «Не виноват ей-богу, не виноват... напрасно!» Но он должен был вынести полтора ста.

— Довольно, — сказал инспектор и прошёлся по комнате. Все ожидали, что будет далее.

— Цензор! — сказал инспектор.

— Здесь, — отозвался цензор.

— Кто ещё сёк Семёнова?

— Я не знаю... меня...

— Что? — крикнул грозно инспектор.

— Меня не было в классе...

— А, тебя не было, скот эдакой, в классе!.. Завтра буду сечь десятого, а начну с тебя... И тебя отпорю, — сказал он Гороблагодатскому, — и тебя, — сказал он Хорю. Потом инспектор указал ещё на несколько лиц. Гороблагодатский грубовато ответил:

— Я не виноват ни в чём...

— Ты всегда виноват, подлец ты эдакой, и каждую минуту тебя драть следует...

— Я не виноват, — ответил резко Гороблагодатский.

— Ты грубить ещё вздумал, скотина? — закричал инспектор с яростью.

Гороблагодатский замолчал, но всё-таки, стиснув зубы, взглянул с ненавистью на инспектора...

Выругав весь класс, инспектор отправился домой. На товарищество напал панический

страх. В училище бывали случаи, что не только секли десятого, но секли поголовно весь класс. Никто не мог сказать наверное, будут его завтра сечь или нет. Лица вытянулись; некоторые были бледны; двое городских тихонько от товарищей плакали: что, если по счёту придёшься в списке инспектора десятым?.. Только Гороблагодатский проворчал: «не репу сеять!» и остервенился в душе своей и с наслаждением смотрел на Тавлю, который не мог ни стать, ни сесть после экзекуции. Гороблагодатский намеревался идти к Семёнову и избить его окончательно; он уже сказал себе: «семь бед — один ответ»; но вдруг лицо его озарилось новой мыслью, он злорадно усмехнулся и проговорил:

— Пфимфа!

Семёнов совершенно замер... Он был в том состоянии, когда человек чувствует, что над ним поднят кулак, готовый упасть на его темя каждую минуту, и он каждую минуту ждёт удара тяжёлого. Он был точно стиснут и сдавлен со всех сторон... дышать почти нельзя... Черти, черти! Какие минуты приходилось переживать бурсаку...

— Пфимфа! — сказал Гороблагодатский, подходя к цензору, и стали они шептаться...

Ударил звонок к ужину. Сердца несколько повеселели...

— Становись в пары! — закричал цензор...

Минуты через две ученики отправились в столовую и, пропевши в пятьсот голосов «Отче наш», принялись за скудную пищу... Когда толпа обратно валила из столовой, цензор подошёл к Бенелявдову и повторил загадочное слово:

— Пфимфа!

— Следует! — ответил Бенелявдов.

Уже в обители священной
Привратник запер крепко вход,
И схимник в келье единенной
На сон грядущий ргесес² чтёт...
Морфей на город сыплет маки,
Заснул народ мастеровой;
Одни не дремлют лишь собаки,
Да кой-где вскрикнет часовой...
Вторично петухи кричали...
Был ночи час; все крепко спали...

² Молитвы (лат.). — *Ред.*

Так «Семинариада» описывает ночь...

Во втором этаже, по правую руку огромного училищного двора, помещаются 6, 7, 8, 9 и 10-й номера спален. Эти спальни соединены между собою. Задний отдел трёх номеров носил название Сапога. Это были спальни своекоштных; поэтому утром и вечером, особенно в первые недели после больших праздников, в Сапоге и других двух комнатах открывался чисто обжорный ряд. Сюда стекалось всё училище; ученики толпами переходили от одной кровати к другой; из-под кроватей, числом до двухсот в этих номерах, выдвигались сундуки, наполненные, кроме книг, разными съестными припасами. С дома, особенно с деревень, привозились в запас огромные белые хлебы, масло, толокно, грибы в сметане, мочёные яблоки. От этих припасов отделялись особого рода запахи и наполняли собою воздух; с этими запахами мешались нецензурные миазмы; от стен, промерзавших зимою в сильные морозы насквозь, несла сырость, сальные свечи в шандалах делали атмосферу горькою и едкою, и ко всему этому надо прибавить, что в углу у дверей стоял огромный ушат, наполненный до половины какою-то жидкостью и заменявший место нечистот. К такой ядовитой атмосфере должен был привыкать ученик, и поверит ли кто, что большинство, живя в заражённом воздухе, утрачивало наконец способность чувствовать отвращение к нему!.. Другая беда — холод был для ученика более невыносим. Начальство печей не топило по неделе, ученики воровали дрова, но это не всегда случалось, и товарищество, ложась под холодные одеяла, должно было покрываться своими шубами и шинелями. Огромные комнаты спален, со столбами посередине, как и в классах, слабо освещались, и тёмные тени ложились полосами по кроватям. Ученики храпели и бредили; некоторые во сне скрипели зубами.

Доскажем последние события зимнего вечера в бурсе. Из комнат Сапога неожиданно появилась фигура и отправилась в угол девятого номера; там поднялись ещё две фигуры... Между ними начались совещания.

— У тебя пфимфа? — спрашивал один.

— У меня.

— Давай сюда.

Все три фигуры отправились в угол и там остановились около кровати Семёнова... Один из участников держал в руках свёрток бумаги в виде конуса, набитый хлопчаткою. Это и была пфимфа, одно из варварских изобретений бурсы. Державший пфимфу босыми ногами подкрался к Семёнову. Он зажёл вату с широкого отверстия свёртка, а узким осторожно вставил в нос Семёнову. Семёнов было сделал во сне движение, но державший пфимфу сильно дунул в горящую вату; густая струя серного дыму охватила мозги Семёнова; он застонал в беспомощности. После второго, ещё сильнее дуновения он соскочил как сумасшедший. Он усиливался крикнуть, но вся внутренность его груди была обожжена и прокопчена дымом. Задыхаясь, он упал на кровать. Участники этого инквизиторского дела тотчас же скрылись. Слышалось глубокое храпенье Семёнова, прерываемое тяжкими стонами. На другой день его замятство стащили в больницу. Доктор понять не мог, что такое случилось с Семёновым, а когда сам Семёнов почувствовался и получил способность говорить, то оказалось, что он сам не помнит, что с ним было. Начальство подозревало, что враги Семёнова что-нибудь да сделали с ним, но разыскать ничего не могло. На другой день были многие пересечены в училище, и многие напрасно...